

A photograph of a forest path. The path is covered in brown pine needles and small stones. Large, flat rocks are scattered along the path, many of which are covered in bright green moss. Tall, thin tree trunks line the path, and the background is a misty forest. The entire image is framed by a dark brown border.

**Татьяна
Мудрая**

**ПОЛЫННАЯ
ЗВЕЗДА**

Татьяна Мудрая
Полынная Звезда

«Автор»

2013

Мудрая Т.

Полынная Звезда / Т. Мудрая — «Автор», 2013

Рыцарь Моргаут, предавший своего короля тем, что полюбил его супругу, по смерти оказывается в пластичном и приветливом мире, покорном всем явным и тайным желаниям. Лишь одно вынуждает заподозрить в нем ад – низкое небо, затянутое желтоватой пеленой, сквозь которую иногда прорывается сияющее видение меча с крестообразной рукоятью, знамён и войска. И поселяются в этой обители непрестанной грусти разные люди из различных времён: русская домохозяйка и японская куртизанка, французская художница и персидский суфий, мальчик из небывалой страны и поп-расстрига... Все они потеряли связь с теми, к кому были раньше привязаны, и постепенно Моргаут понимает, что его цель – восполнить в этом мире нехватку любви. И тем самым раскрыть небо над головами.

© Мудрая Т., 2013

© Автор, 2013

Татьяна Мудрая

Полынная Звезда

Мой персональный ад возникал в каждом сне и постепенно расплзался, точно капли дождя на окне деревенской усадьбы, пока, в конце концов, не заслонил собой весь мир.

Усадьба сгорела дотла, когда меня из неё выкуривали, чтобы потом вздеть на кинжал, но теперь невредимо стоит под низким сумеречным куполом сплошных желтоватых облаков. Это крепкий дом старинной постройки, где мохнатый северный мох торчит из щелей между брёвен, гонтовая крыша оделась лишайником, а вместо дорогих стёкол вставлены полупрозрачные роговые пластинки.

Дом окружён небольшим ухоженным садом. Яблони роняют наземь бледно-розовый снег лепестков – истинного снега здесь не видывали отродясь. Вишневые деревья сгибают ветви, подобно плакучим ивам, поднося к самому лицу свои дары – любой плод еле можно охватить ладонью. Абрикосы размером в небольшую дыню источают медовый аромат, который собирают кроткие пчелы и несут в плетённые из краснотала круглые ульи, где он превращается в вино. Этим вином хорошо по вечерам запивать сдобные лепёшки из корней сладкого батата, смолотых на ручной мельничке с бронзовыми жерновами и смешанных с молоком певчих птиц. Холёные цветы тянутся по тучным грядам непрерывным ожерельем – для каждого дня свои краски, ночи же здесь белые. Есть и родник, запертый в дубовую бочку: вода в нём ещё слаще вина. В ручном дубовом лесу, что подступает к сухой кладке ограды, невозможно заблудиться: все стволы испещрены тонкой паутиной мет и порезов, все тропы изведаны, а не найдешь ни одной – ступай вниз по течению. Здешний ручей сплетает хрустальные пряди над ложем из самоцветных окатышей и неизменно возвращает путника под родимый кров.

Внутри этого крова таятся комнаты с низким потолком; арочные проёмы закрыты толстыми бычьими кожами, оконца со свинцовым переплетом еле cedят сквозь себя свет и не пропускают ночной прохлады, печь дарит моему одинокому ложу, ложу без чужой королевы на нём, смиренное тепло. Пышные медвежьи шкуры укрывают его, надежно укутывая мой стыд и мою похоть с ног до головы.

Я почти счастлив. Я был бы счастлив вполне, если бы не одна совершенно непостижимая вещь.

Посреди ясного дня моим глазам предстаёт величественная феерия. Облака разверзаются под напором яростной сини. Поперёк неба, что рушится вниз пламенными радугами, утверждён прямой меч Эскалибур с ярко-зелёной звездой в перекрестье. В недостижимой выси реют белоснежные с алым райские стяги, трубят серебряные фанфары, солнечные блики ложатся на золото рыцарских доспехов, торжеством звенит, скрепящаясь, боевая сталь.

И закосневшее сердце моё готово верным псом бежать у стремени короля, что погиб от моей измены.

Моя обитель непрестанно меняется, но до недавнего времени я этого почти не осознавал, ибо настоящее здесь волшебным образом обеспечивает свое существование прошлым, которое ты помнишь в мельчайших деталях, и легко предсказуемым будущим, которое логично вытекает из них обоих. Так, в первое время я, приближаясь к усадьбе, заставал прежнюю обугленную руину, перед которой стояло крыльцо с дверью, похожей на надгробную стелу. Лишь когда я поднимался по ступеням, брался за рукоять в виде узкого листа и поворачивал её, задвигая лезвие замка в дубовое полотно, передо мной открывался слегка обгоревший холл со второй дверью, обитой снаружи **ватой** и потрескавшимся **дерматин**ом. (Незнакомые реалии охотно дарили мне свои клички – нет, не истинные имена, лишь такие, что используются для одного удобства.)

За пухлой дверью находились все остальные помещения – с низким закопчённым потолком и трухлявыми полами. Однако стоило, попервоначалу не оглядываясь, углубиться внутрь, как вещное окружение восстанавливало само себя в подробностях, кажущихся избыточными. Холл обращался в щедро застеклённую террасу. Сундуки и лари громоздились друг на друга ярусами, доходящими до сводчатого потолка, так что я ломал голову, как мне достать ту или иную книгу или покрывало, пока не догадывался, что передние стенки – сдвижные. Низкая постель со штофными подушками накрывалась тканями из козьего пуха одеялами. Светильники вырастали из пола наподобие ветвистых деревьев и загорались, едва на небе загустевала дымчато-серая масса вечера. Печные панели поверх кирпича одевались изразцом и смальтой, вместо сернистого жара по ним циркулировала тёплая вода со сходным запахом. Она охотно изливалась вовне, стоило лишь открыть вентиль над плоской мраморной ванной. В банной камере пол был чуть выше, а стены немного толще, чем в других, за счет обшивки и того, и другого лиственницей с изысканным узором прожилок. На месте привычной ниши для очага в стене открывался камин, его пламенеющий зев был окаймлён черными, с синей искрой, плитками лабрадорита. В огне, по всей видимости, здесь не испытывали недостатка.

Живя посреди этих мелких каждодневных чудес, я не так уже и удивился, когда напротив моего дома возник ещё один: такой же деревянный, но с широкими сплошными окнами в изукрашенных рамах и высоко поднятой железной крышей, крашенной тусклым суриком. Во дворе, куда большем моего, старые яблони роняли обильную падалицу в свою прозрачную тень, рядом с дряхлым, скособоленным сараем высилась механическая колонка: рычаг исправно нагнетал воду в одетое легкой патиной корыто. Рядом на столбе повис уличный ручной в виде курьёзного сосуда с двумя носиками, мутно поблескивали стёкла заброшенной теплицы и стояла порожняя собачья будка. Тамошний узкий штaketник наполовину заместил мою непроницаемую сухую кладку, поэтому хозяйка всякий раз, выходя утром на порог, при виде меня приветственно махала рукой и улыбалась.

Через некое время мы сошлись у самого забора – она радостно копала грядки под лук и редис, я решил поохотиться на ежевику, которая проникла ко мне из леса, ещё когда он начинался рядом, – и первая её фраза отчасти меня поразила:

– Молодой человек, простите, что навязываюсь. Я в самом деле рада, что у меня появился сосед. Это после такого долгого времени! Наверное, **они** позаботились.

– Кто – они? – спросил я, погружённый в свои проблемы. Плетки удлиннялись прямо на глазах, вцепляясь всеми шипами в трещины между камней и обвивая сквозную решетку чужого забора, их мелкие белые цветочки соседствовали со вполне зрелыми плодами, не очень крупными: размером в большой палец сильного мужчины и в полтора моих.

– Те, кто правит, – ответила она слегка удивлённым тоном.

Я поднял глаза и вгляделся. Лицо женщины глубоко средних лет, похожее на сырое тесто с утопленными в нём двумя черносливинами, широкая кость, тёмно-каштановые волосы с редкой сединой рассечены прямым пробором и скручены сзади в тугую кулак. Плоскогрудое тело облекает шерстяная туника, гораздо более похожая на рогожный мешок и подпоясанная разлохмаченной верёвкой из пеньки.

– А кто здесь... хм... правит? – спросил я без выражения.

Наверное, моя реплика была воспринята как отказ продолжить едва начавшуюся беседу, потому что черносливины потускнели, а дряблые щёки побледнели ещё больше.

Я поднял голову и встретился с нею глазами. Проговорил успокаивающе:

– Хорошо, что вы здесь и можете дать совет. Ягода очень кислая, моя нянюшка Морвик делала из такой медовый сидр, но мне неохота с этим возиться.

– Это оттого, что нет настоящего солнца, – кивнула женщина. – И хмель нас вроде не должен брать – у вас есть похожие наблюдения? Простите, молодой человек, я Валентина.

– Прекрасное римское имя, – я слегка поклонился. – Моргаут.

– Валентина Фёдоровна.

Я снова наклонил голову. Дочь грека по имени Теодор? Как странно. Но не странней того, что мы вообще друг друга понимаем, невзирая на акцент и несовершенство межзубного звука.

– Моргаут Орсиниус.

После взаимных представлений и уверений в том, что наши полные имена слишком громоздки, мою собеседницу будто прорвало. Для начала я получил уйму практических советов насчёт того, как сварить кисель из ежевики, мёда и **картофельного крахмала**. Картофель Валентина обещала подкопать, протереть на тёрке и вымочить, благо он уродился крупный и в великом изобилии. Как я понял не далее чем на следующее утро, это были некие видоизмененные корни или наросты на корнях. С определением батата и прочей лично моей флоры затруднений у меня не наблюдалось.

В обмен на мешочек с белым порошком, скрипящим, будто молодой снег, я отдал ей почти всю чёрную ягоду, не видя для себя прока ни в первом, ни во втором.

И был тотчас приглашён в гости.

Резная калитка со щеколдой там, где у меня наполовину открытая дверца в низкой стене, разобрать которую не стоит особого труда. Женщина, что ещё о ней сказать...

Похожая на невысокий курган клумба, посередине которой, увитая диким или одичавшим виноградом, возвышается сосенка.

– Отец был архитектор и сам спланировал этот дом, – говорит Валентина. – На опушке соснового бора. Хотел создать родовое гнездо. Я, его первенец, была слаба лёгкими, вот мою кроватку и выносили каждый день, ставили посреди поляны, чтобы мне смолой дышать. От одного того и выжила.

В самом деле, сосны, ели и березы образовали острова внутри лесного материка и оттеснили прежних красавцев: лишь один роняет тяжкие лакированные плоды, накрытые чешуйчатой шапочкой, к своему подножию. Удивительно – каждое из новых деревьев по-прежнему отстоит от других, сохраняет свободные и горделивые очертания: пышную крону, коренастый ствол, – будто возвышается на равнине. И чётко соблюдает дистанцию.

Внутри дома Валентины, начиная с самого порога, гуляют сквозняки, высокая, выложенная кафелем печь ни капли не греет. Снова я получаю фрагмент семейной легенды – о том, что подрядчик, неверный ученик, отчего-то невзлюбивший отца, оставил хитрые потайные щели, в которые уходил, завихряясь, нагретый воздух. Оттого здесь невозможно проводить зиму – только разгар весны, самое начало осени и лето.

– И ладно, – говорит мне хозяйка. – Здесь оно вечное – лето, хотя больше похоже на осень.

В комнатах с высокими, будто крышка разрисованного ларца, потолками – склад мебели. «Ломберный» столик для азартных игр, в утробе которого грохочут кости и шелестят клочки пергамена, буфет чёрного дерева, что простирается от стены до стены, и весь в выпуклой резьбе, многоэтажный «шкап» с четырьмя створками посередине, кушетка – на ней спят или только размещают шлейф парадного платья? Разнообразнейшие стулья и кресла, при виде которых я спохватываюсь, что у меня самого, помимо круглых подушек, лишь одно «курульное» сиденье, и то никак не переместишь с места на место. Просить себе одно из здешних, хотя Валентина ими явно тяготится, нельзя, это я отчего-то знаю твёрдо.

Хозяйкина постель не заправлена и носит следы долгого пребывания, заплёванная «цинковая» детская ванночка выставлена на веранду, что отличается от моей лишь изобильным плетением лоз, обеденный стол крыт чем-то скользким и липким, в мелкий цветочек. **Клеёнка**. Такая же постлана на обоих шатких четырехногих табуретах, куда мы садимся, чтобы выпить по чашке горьковатого травяного настоя и улицезреть сундучок резного хрусталя с миниатюрным замочком, внутри которого вечно томятся осколки сахарной головы.

А вприкуску к этому чаю и неважно очищенному сахару я получаю кисло-сладкую историю жизни.

Они поженились по взаимной любви, как было тогда принято, и родили четверых детей: красавцы в отца, певучие в мать. Было бы и пять, но самый лучший попал под колёса, У матери не было ни глаз, чтобы за ним присмотреть, ни свободных рук, чтобы удержать: на Плющихе было очень бойкое движение. Они там жили до войны и удержали квартиру, когда мужа призывали на фронт. Хотя, конечно, в осажденной Москве было голодно и нечем топить.

Я не понял, почему она говорила обо всем этом с такой трагической интонацией: разве не обычная участь ребенка в многодетной семье – подвергаться риску? И разве не дело мужчины – воевать и гибнуть?

Но самое главное, что было непонятно: почему Валентина говорила так, будто оставалась одна на земле.

– Семья была большая, всех разбросало, – вздохнула она. – И знакомых тоже. Соседка помогала, чем могла. Квартира была огромная – почти такая, как этот холодный дом. Коммунальная. И хорошо, что семья большая, две дочки и два сына. Не отняли и не уплотнили эвакуированными. И пищевые карточки, продуктовые талоны давали на всех четверых детей, иначе бы семье не выжить.

Огромный город, находящийся в осаде. Я понимал, что людей в нем приходится кормить, но когда я представил в этой роли нарезанную полосками бумагу, что-то во мне запротестовало.

Они выдержали – это было счастье. Муж вернулся после войны – это было второй удачей. Хотя без ноги, на протезе – деревянная или кожаная подпорка? И с трофейным стеклянным глазом, который удивлённо таращился, приподнимая бровь.

– Что значит трофей? Он вынул его из глазницы убитого им противника? – спросил я.

Оказалось, что нет. Такое делалось их верховным королем и его приближенными, а потом раздавалось тем из воинов, кто не умел ничего захватить сам. Хотя многие обогащались весьма умело, причем как раз такие, кто сам не бывал в боях. И их семьи – уже в мирное время.

Уразуметь порядок и последовательность действий я никак не мог. Обирать трупы перед тем, как закопать их поглубже, – в этом есть логика. Лишь самых уважаемых воинов врага следует препровождать в иное царство со всей возможной торжественностью.

– Они ведь все были преступники, – ответила Валентина. – Фашисты, наци.

Я не посмел спорить. Надеюсь, что такое осуждение повергнутого в прах врага – признак большей цивилизованности победителей.

Разумеется, муж проводил своё время в кабаках и у добровольных шлюх, пока жена по заведенному издавна порядку тянула на себе хозяйство. Красота Валентины увяла ещё раньше, чем у моих милых названных родителей из простолюдинов, голос она потеряла, но не получила взамен никакой любви. Меня удивило, до чего легко она вспоминает жизненные передраги, – счастливая натура!

Под кровом их многоэтажной инсулы постоянно собиралась родня и приятели взрослых детей. После войны такая роскошь, как потолки в два человеческих роста и толстые кирпичные стены, весьма ценилась, и семейство легко разменяло свой золотой червонец на пригоршню медных пятак.

– Двушек и трёшек, – поправила женщина мою реплику. – Квартир в новых домах, не очень крепких. Вся моя молодежь пережилась и завела потомство, которое раз в году захлёстывало старый загородный дом, словно бурливая речка.

В один из таких теплых июней у калитки нашли беспородного щенка: получился прекрасный сторож, голосистый и малость блудливый. В город его не было нужды брать – приезжали, оставляли еды на неделю. Бродил он вольно, запирали во дворе его только летом, чтобы сберегал привозное хозяйское добро.

С мужем они в ту пору расчётливо развелись – оба считались ветеранами, кто войны, кто труда в осажденном городе, а он в придачу был инвалидом. Калекой благодаря войне, перевел я для себя. Это давало две крошечных конуры вместо одной, немного большей. Внуки подрастали, квартирный вопрос становился всё более напряженным, но это была жизнь.

А вот выпуклость подмышкой, чуть болезненная, – это была смерть. Долгая, нудная, с агонией по меньшей мере трехгодичной, с операциями и процедурами, которые сделали грудь плоской, как доска, а волосы – седыми и редкими. Со множественными метастазами, один из которых выдавил из черепа глаз, симметричный воровскому хрустальному оку супруга.

Око за око. Было ли это справедливым? Не могу судить.

– Но теперь всё хорошо, – улыбается Валентина. – Всё вокруг такое, как я любила и помнила с детства. И вдобавок ещё покой.

Она предлагает мне пенки и свежее варенье из глиняного горшочка: сварила в тазу на плите, вмурованной в печку. Очень приторное: здесь можно не жалеть ни сахара, ни иных продуктов, которые самозарождаются в маститом буфете. Если бы не то, что Валентина любит готовить, ей бы и хлопот не было.

А еще она всегда любила держать дом в порядке. Вода в колонке мягкая, стирает почти без мыла, источник которого – всё тот же буфет. Мыло хорошее, детское, чуть подванивает, потому что без духов. Жалко, что в доме нет электричества, говорит она. Я уже знаю, что электричество – это те искры, что образуются на поверхности моих меховых покрывал и покалывают мне пальцы. Их полагается заточать внутрь длинных проволок из меди или серебра, тогда они становятся способны приносить пользу. Например, заставлять холодильный шкаф вырабатывать внутри себя зиму – мне все уши продули разговором о «сладком льде» и «сладком снеге» – то были два вида съедобного **мороженого**. Или раскалять утюги для глажения стиранных вещей. Однако тяжелые чугунные сооружения, внутри одного из которых есть место для раскалённых угольков, справляются с работой еще и лучше современных Валентине: надо только постоянно менять их очередность на конфорке плиты. Бельё от них слегка припахивает палёным, но это создает особый уют.

Хорошо, тем не менее, что мои рубахи, туники и широкие безрукавные плащи обходятся без этой процедуры – прополоскав их в горячей воде со щёлоком, я попросту даю им отвисеться на перилах крыльца. Одна история жизни не должна соприкасаться с другой.

Как-то, выходя из своего двора наружу, я заметил ещё одну перемену. Тротуар замощен старинным **клинкерным** кирпичом, в щелях вырос мох, а под калиткой вырыто неглубокое углубление.

– Для Тишки, – с грустной улыбкой объясняет хозяйка. – Вот никого не жду, дети – отрезанный ломоть, мой Николай вообще здешних мест не любил. А без собаки непривычно как-то. Он ведь всю жизнь подковы любил устраивать. Однажды ушёл и не вернулся: мы даже его встречали не один раз – только огрызнулся. Нашёл другую стаю, наверное, ту, с которой без нас гулял. А потом и вовсе исчез. Пропал без вести.

Тихон был очень хорошенький: белый, кучерявый, с войлочными кисточками на ушах и заострённым на конце хвостом. Старый друг семьи, художник, говорил, что это метис бедлингтон-терьера. Сам же бедлингтон – хорошая охотничья порода, которую превратили в декоративную.

Название Валентина произнесла без малейшей запинки, причём дважды.

– Вот как? – спросил я. – В моё время таких не было.

И, разумеется, меня тотчас потащили глядеть на его портрет: наверх, по крутой лестнице, в мансарду живописца.

Простая мебель: диван с высокой спинкой и двумя валиками, кресло, набитое жёсткой морской травой, незастеклённая полка с книгами, стоящими в один ряд. Из творений мастера

осталось только два небольших **полотна** (в те времена малевали на туго натянутом холсте). Портрет пса в полный рост был повешен напротив необычной по замыслу картины, где нагая хозяйка была изображена в виде трёх фигур, практически неотличимых друг от друга. Одна из них, повёрнутая к нам спиной – виден был изящный профиль – держала в руках мяч, готовясь послать его другой ипостаси, мягко сжимающей кулаки на уровне бёдер. Чувствовалось, что сил, чтобы взять и удержать подачу, у нее нет. Третья девушка опрокинулась на траву и с лентой перекачивала мяч ступнями: другой или то же самый? Застывшая, сновиденческая, непонятная сцена посреди чахлой растительности: ни день, ни ночь, ни рознь, ни единство.

– Мы ему отдельную печку наладили, – объясняла Валентина, – чтобы краски лучше просыхали. Здесь ведь общий дымоход, только один из каналов засорился. Прочистили и открыли для пользования.

Нужно ли говорить, что я стал куда чаще прежнего навещать её – не столько ради бесед, сколько ради того, чтобы проникнуть на обратную сторону тройного зеркала, изображающего юность Валентины?

Другая цель, гораздо более интимная, казалась недостижима.

Трудно выяснить, за что попала в ад женщина, которая мыслит себя в раю.

Я всё чаще выхожу за пределы и погружаюсь в лес.

Никогда особо не любил бесцельных прогулок. Замшелая, изъеденная паршой липа под окном моей детской спальни, что теряет сучья с каждым порывом шквального ветра, но летом одевается в золотистую вуаль, как невеста, – вот всё, что мне было искони нужно от природы. Когда меня, бастарда, взяли во дворец старой королевы, а потом надолго увезли с родных островов, это старое дерево невидимо для прочих путешествовало вместе со мной, пускало корни в любую почву, даже насквозь оцепеневшую от мороза. От первого же, чуть знобкого прикосновения тепла его почки набухали юным листом, а навстречу солнечным лучам выпускали из себя источающие мёд цветочные гроздья.

Но в этом ручном лесу лип не видно.

Однажды утром (оно здесь довольно условное, что никак не мешает спать) я поздоровался с соседкой, дал слово, что через час-другой забегу за **шаньгами**. Это какой-то особый вид пирожков, ради которых она мысленно заказала и получила в неиссякаемом буфете килограмм муки, пачку винных дрожжей и колобок свежего масла. В начинку была пущена картошка: этот плод земли был вездесущ и воистину неистребим, как и грибы, которые даже сажать не требовалось – сами вырастали под ручными берёзками.

И только потом я обратил внимание на одну из сторон ограды.

Из неё на вершок в высоту торчали копия, отстоящие друг от друга на добрую ладонь. Другие стороны ограды были совершенно такими же. Отвлекаясь, скажу, что булыжники были скреплены раствором, а острия копий, в отличие от турнирных, заточены, но это я выяснил позже. Внутри строгого четырехугольника высился небольшой замок с башней – несмотря на некоторую хмурость, слегка игрушечного вида. Деревья, которые его окружали, были коротко подстрижены, очевидно, чтобы в будущем заставить их ветвиться; трава казалась ровной и яркой до ненатуральности; края по всей видимости пересохшего рва соединяли нити мостов. Но не всё это меня удивило, – лишь шатёр, что был растянут не веревках между замком и оградой. Из плотного, туго натянутого между столбами шёлка, цветом сходного с экзотическим солнечным плодом, какие выращивались за стеклом во времена, много лучшие нынешних. Навершие центрального столба увенчано графской короной, одна из пол на входе откинута: во время дождя вода могла бы залить дорогой темно-красный ковёр с небольшими медальонами в форме овала, но в здешнем мире природа не склонна к буйству. Ближе к утру нисходит с неба и оседает на траве и кустах подобие крупной росы – но и только. Беззаконное благословение...

Он выкуклился из шатра, прошёл параллельно ограде, как бы совсем меня не замечая, и стал напротив. Почти с меня ростом или чуть выше, но так же тонок в кости; движения танцора, профиль греческого эфеба, в гладкой черноте распущенных по плечам волос не видно моей рыжины, перламутровая гладкость кожи не чета моей обветренной бледной немочи. Отчего я гляжусь в этого юнца точно в зеркало? Оттого лишь, что он по виду годится мне в сыновья, или потому, что в этом аду нет зеркал помимо наших скрещённых взоров?

И помимо картин, говорю я себе, и картин. По крайней мере, одной.

– Как твоё прозвище? – говорю, стараясь не повернуть головы и – уж не приведи никто и никому – встретиться с ним глазами. Так он легко может игнорировать мои слова.

– По большей части его звали «Эуген», – уверяет он холодному, влажному воздуху.

Одет он ещё более странно, чем Валентина. Чёрный плащ с узкими рукавами застёгнут на какие-то резные бляшки и к тому же облегает тело до середины бёдер туго, как перчатка, затем распускаясь книзу складками, почти достигающими колен. Сами перчатки, необыкновенно тонкие, смотрятся второй кожей. Штаны облегают ноги наподобие трико гимнаста – да он и есть гимнаст, меня ведь сравнивали с ним... с гимнастом, танцовщиком, иногда – укротителем быка. Сапоги из мягкой кожи с кисточками доходят до середины икр, и сбоку одного – почему не спереди обоих? Сбоку болтается чёрный с золотом темляк короткого клинка.

– Ты в самом деле при оружии, Эуген? Похвальная скромность и необходимая предосторожность. Никому не стоит ходить в этих местах **голым**.

Потому что лишь по его желанию возведена такая изгородь – без входа и без единой щели в ней. А слово «голый» в тех высоких сферах, откуда я насильственно выпал в здешнее девятикружье, означало безоружного.

Ресницы на полузакрытых глазах до половины щеки, налёт пудры точно венецианская маска, волосы безупречны, как парик. Он не понял иронии или не снизошёл до нее?

– Этот стилет – лишь для крови самого Эугена. Лишнее – покушаться на его наготу.

– Он чист?

Мой вопрос слишком прям и откровенен. Но, может быть, так и надо. Сюда по определению не попадают без вины, хотя с какой стати мне о ней допытываться?

Мои слова двусмысленны благодаря своей краткости. Это должно сработать даже в том случае, если наш *poli me tangere*, наш недотрога и возможный самоубийца не соблаговолит на них ответить. Судя по его репликам, в игре слов он мастак.

– Довольно того, что видят чистоту его ножен.

Тут Валентина, которая как раз испекла первую партию своего картофельно-грибного лакомства, подтащила к забору объёмистую миску, накрытую пахучим тряпьем, и обнаружила сомнительное воплощение популярной теоремы. Иначе говоря, то, что три условных квадрата наших земельных владений смыкаются в один тупой угол и через это обстоятельство можно угостить как меня, так и новопоселенца.

– Вот, Моргаут, держите. Только вот решётка тесная, да и сама я робею угостить девочку. Может быть, вы...

Всплеск ресниц, пронизывающее сияние двойных-дневных небес.

– Спокойно, Евгений. В её время так наряжалась и убирала волосы добрая половина юных женщин. Мешковатость и неряшливость тогда считались приметой сильного пола.

Улыбка, что крадучись наползает на угол тонкогубого рта и приподнимает его, похожа на знакомый разрыв в облачном мареве.

И я внезапно выпаиваю прямо в эту улыбку и глаза:

– Не думай, что здесь можно хоть кому на тебя покуситься. Или чему. Ткнёшь себя своим шильцем – мигом затянет рану, будешь голодом морить – понапрасну потеряешь всю красу. Дай лучше я тебе пироги по штучке просовывать буду. Тарелка найдется?

За тарелкой идти далеко. Он послушно ест у меня из рук...

Несостоявшийся самоубийца. Пленник собственного целомудрия. Или я ошибаюсь?

Это он притащил за собою замок. Гораздо более впечатляющий, чем кажется с первого взгляда: башен теперь не одна, а все четыре, двойное ограждение из гранитных глыб, наружная стена чуть пониже, внутренняя, с зубцами, – повыше. Обе они соединяются парапетом, по которому легко разгуливать, слушая пение ветра. Внутри, в безопасном отдалении от стен, находится главное здание со свинцовой крышей, похожей на драконий хребет. Ничего подобного при своей жизни я не застал и не могу судить, насколько это отвечало требованиям фортификации.

Зачем это показное величие, если сам Эуген спит вне стен, хотя и за оградой?

Спрашивать вот так, с ходу, после первого кормления, было неуместно. Пришлось начать издали – вернее, последовать естественному течению событий.

– Тебе идёт быть опрятным, – сказал я однажды. – Есть смена одежды? Валентина очень ловка стирать, не только готовить.

Эуген сначала потряс головой, потом кивнул и принял сверток моей одежды – не такой изысканной и куда более плотной, так что я еле протолкнул всё это в щель. Кажется, родник там у него был – где-то на задах. Так это у него и осталось: я заявил, что у меня одежды столько, сколько я захочу, и после этого он как-то сам сообразил, как и чем сумеет разжиться.

Потом настал черёд посуды – передавать миски, блюда и кубки оказалось легко и не сподвигло его на изобретательность. Затем – мебели. Не так уже приятно человеку с континента сидеть на толстых подушках и ложиться на жёсткий пол, как восточному варвару.

– Мы бы тебе всё что надо передали, – сказал я, – если бы ты **открыл** проход в ограде. Не перекидывать же дорогую мебель через острые копы.

Не уверен, что Эуген оценил двусмысленность в своём духе: то ли дверь в стене была замаскирована, то ли он из неведомого мне страха не сотворил её сразу. Во всяком случае, когда я через некоторое время подошел к месту, где сходились три стены, обнаружилась низенькая и широкая калитка сплошного чугунного литья, окруженная неровным бордюром из округлых камней. То ли Эуген открыл ее изнутри и разобрал внешнюю часть ограды, то ли просто пожелал того.

Я не стал занимать у моей соседки тонконогую мебель – она могла продавить мягкий пол шатра, да и свои невнятные опасения на её счет я помнил. Выбрал один из моих сундуков с плоской крышкой и перетащил к Эугену за компанию с двумя-тремя ненадеванными туниками, таким же количеством рубашек и трико: всё равно лишние. Он взял это безропотно. Он вообще стал меня принимать как нечто должное и предписанное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.